

1

Вдруг рот наполнился кровью, и я сплюнул в ладонь зуб. Весь день лил дождь, тяжелый, беспросветный, но свечерело, и потоп иссяк. У крови привкус железа, я харкнул и сглотнул ее, глядя на луну за окном гостиной, на прибитый над Вестмаркой узкий серп. Ноябрь, считай, кончается, осталась неделя-другая. Я включил настольную лампу Ингеборги, она всегда, как отужинаем, сразу ее зажигала и садилась так, чтобы свет падал на книгу или там газету, и читала, каждый вечер, любила чтение. Я сунул ладонь в круг света. Ага, моляр из верхних задних. По нему ручейками винно-красного цвета растекалась свежая кровь. Я пошел в ванную, наклонился над раковиной, сплюнул. Кровь не останавливалась. Поднял глаза, посмотрелся в зеркало: старое лицо, у глаз морщины, раздутая верхняя губа, куца борода, вот же сроду я не любил пялиться на себя в зеркало. Провел языком по зубам и нащупал место, где моляр этот когда-то пустил корни, угнез-

дился и стоял. Я открыл шкафчик за зеркалом и достал ватный тампон из пакета. Это Ингеборгино хозяйство, я после нее ничего не трогал. Стал пихать вату в лунку, глядь, снова кровь пошла. Опять сплюнул и запрокинул голову, стиснув зуб большим и указательным пальцами; кровь шла сильнее, мысли пихались, отталкивая друг дружку, и до меня медленно-медленно, как будто я втаскиваю за собой лестницу, дошло наконец, что это значит.

Это было в среду на прошлой неделе.

А я Толлак, который Ингеборги.

Человек ушедшего времени.

Искать себе место еще где-то у меня и мысли нет.

Который час?
Половина пятого.
Сегодня ни одного зверя не встретил, все
от дождя попрятались.

Да. Дороги назад нет, черные псы догоняют меня.

Все погружается во тьму, двор, сарай, лесопилка.
Вестмарка и гора Сёрфьеллет. Все, что окружало
меня всю жизнь. Скоро останутся только черные
силуэты. Снег бы добавил мягкости сему несолнеч-
ному месту, но снег пока не лег, еще рано.

Ноябрь.

Как там Ингеборга его называла?

— *Пора, когда жизнь на просвет, Толлак.*

— Да.

— *Осень отцветает, зима выжидает.*

Красиво она говорила, Ингеборга, не счесть
сколько замысловатых слов и выражений я от нее
выучил.

— *Наша пора побыть вместе, Толлак, другой не бу-
дет, веди уж себя поласковее.*

Туре Ренберг

Да.

Было так.

Я очень сильно ее любил, еще сильнее любить женщину просто невозможно, и я проклиная адские силы, которые забрали ее у меня.

Свет за окном ржавеет.
В доме холодно. Надо подбросить поленья в камин. Дрова плохо горят, заплесневели. В последние годы я сушу дрова абы как, раньше за мной такого не водилось.

Ингеборга мерзлячка была. Всегда ходила в вязаной кофте, да еще стягивала ее на груди. Так и слышу ее голос:

— *Толлак, подбрось полешко, пожалуй.*

И я подкладывал еще полено.

А вечером снова-заново:

— *Толлак, там огонь не погас?*

И дети тоже мерзли. Особенно Хиллеви, тонкокожая девочка. Когда маленькая была, только и слышал от нее: ой, холодно в доме, ой, опять холодрыга. Так оденься потеплее. Отец мой небось неслучайно так дом построил. А чтобы воздух ходил.

Они скоро придут, Хиллеви да Ян Видар. Я позвонил им в четверг утром, после как зуб выпал. И попросил приехать. Сюда, в глушь мою. Домой.

Туре Ренберг

Время пришло, подумал я. И мне недолго осталось.

И они в неведении уже довольно натерпелись.

Оддо.

Ингеборга моя.
Так и вижу ее лицо. Оно было хорошо вылеплено. И как она идет по комнате, вижу, шаги пружинят, лошат пол, бедра покачиваются. И спину ее вижу, и как Ингеборга наклоняется. И слышу ее голос, глубокий, грудной, напoeнный дыханием:

— *Из тебя клещами слова не вытянешь, Толлак.*

Иногда она говорила так с любовью. А другой раз с отчаяньем. Или с горечью. Но обычно с раздражением. И у нее были причины раздражаться. Я и правда не говорун.

Вспомнился вдруг, пока я тут в окно гляжу, один наш вечер много лет назад. Хиллеви и Ян Видар тогда только в школу пошли.

Дети уснули, и мы с Ингеборгой залезли в кровать. И плоть к плоти. Мы с ней горячие были, тянуло нас друг к дружке. И удержу не знали, заводились прям как зверята.

Я не могу перестать думать об этом.

Что ей все время хотелось меня, а мне хотелось ее.

И вечер тот я отлично помню. Я насытился ею, она упиалась мной. Я лежал на спине, весь как выжатый, и вдруг язык у меня и развязался.

— Ингеборга, — сказал я и повернул голову. Она дремала, прикрыв глаза, к оливковой коже прилипли несколько волосков, и я смотрел и на нее и любовался.

Как всегда.

— Небось они все видят, вся долина, как я горд своей женой.

— Чтоо?..

Лениво протянула она.

— Это не так устроено, что если я мало говорю, то я вообще безъязыкий.

Она открыла глаза. Повернула голову и посмотрела на меня.

— Я знаю, — сказала она.

— Во мне вот здесь много слов, — продолжал я, потому что в тот вечер мне хотелось говорить и говорить.

— Я знаю, — снова сказала Ингеборга и взяла меня за руку. — Я всегда их слышу, слова, которые у тебя там.

Ну нет, подумал я, это тебе слабо, но вслух не сказал.

— А все потому, Толлак, что я тебя насквозь знаю. Это тебе известно?

ТОЛЛАК, КОТОРЫЙ ИНГЕБОРГИ

Она лежала рядом такая милая, такая самая настоящая Ингеборга, что я кивнул, но про себя подумал: ну ты даешь, мать, никому не дано меня знать.

А она засмеялась, я уверен, что помню это.

Она смеялась все время, жена моя. Мне кажется, в ней смех всегда курился наготове и чуть шанс представится — тотчас вырывался наружу, без лишних уговоров.

Мне вот смех не дается. Сам удивляюсь почему. Ан не выходит у меня, и все тут. Что-то меня тормозит. Мышцы рта тоже не хотят включаться. Внутренний голос говорит: не надо, не делай так, посмешищем станешь. Самому мне на это плевать. Но вот перед Ингеборгой совесть моя не чиста. От меня б не убыло побольше смеяться с ней на пару.

Остальные-то меня не волнуют.

Да, да.

Раскаянием прошлое не переделать.

Я подхожу к окну и смотрю на двор. В сарае горит свет. Там Оддо. Я его с раннего утра не видел. У него спокойный день сегодня. Он еще не знает, что они едут.

С вившись, точно два змея. Так мы лежали неделю за неделей, год за годом, такими я нас с Ингеборгой и помню. А теперь расшиб костяшки пальцев. Наполовину, не в хлам, но все равно. Слабак я стал потому что. Когда иду, скрипят колени, не половицы. Вчера саданул кулаком по двери на втором этаже. Замахнулся да и впечатал. Раньше-то костяшкам ничего бы и не было. А теперь вон оно что.

Едут они уже, вот-вот приедут. Хиллеви и Ян Видар.

Дочь моя пламя и сын мой студень.

И мне надо будет рассказать им. Они имеют право знать.

Бутылек стоит в шкафу, сейчас бы горло промочить самое то, но сегодня воздержусь.

Вестмарка совсем слилась с темнотой. Нагнали меня черные псы, Ингеборга.

Мне бы сейчас свиться с тобой, как прежде.

Я человек прошлого.

Не мое оно, теперешнее время. Не в нем я родился. Не в нем рос. Не этому меня учили, не к этому готовили. Как новая эпоха началась, я сразу понял: горько мне будет в ней жить. Так и вышло. Теперешняя жизнь такая вся соблазнительная пришла, и бедрами крутит, и выделяется, как пьяная, и всего-то в ней избытке, только и манит — хочешь то, хочешь это, а на кой ляд мне вся ее мишура блестящая? Так нет, новая жизнь знай кружится перед глазами, вальсы танцует, искушает вещами, о которых я никогда не просил, не думал ими обзаводиться, она вообще ни разу не спросила, нужны ли мне те новшества, которыми она все заполонила. Мне они точно ни к чему. У меня все было. Земля, пара рук, работа, Ингеборга. Я и не думал жаловаться. Но новая эпоха не сдавалась. Она твердо вознамерилась переделать нас самих и нашу жизнь, да еще непременно с дикой скоростью. Почтения к прошлому у нее ни на грош, ко всему моему укладу то есть.

Но разрешения она не спрашивает. А по-бычьи корежит местный быт. Лезет к тебе в дом, в спальню, в глотку, в нутро. И не тормозит, так и продолжает, день и ночь, день и ночь. И глубоко этой новой жизни плевать и на меня, и на то, что у меня в заводе. Но я-то не полюбил ни ее поступь, ни ее манеры. И морда ее мне не нравится. И звуки ее, и запахи. Все в ней не по мне.

Мы друг другу не интересны.

Мне она кажется уродливой, а ей кажется, что это я урод.

Я давно повернулся к ней не лицом. Жил себе тут в глуши, с Ингеборгой, с пилой, топором и лесопилкой, среди гор, полей и непаханных лугов, веря в свои руки, но теперь всему приходит конец. Нет у меня больше Ингеборги, нет этой лампадки, освещавшей мою жизнь, погасла она. Но кое-что и у меня осталось: я — такой, какой я есть.

Слышите, вы?

Я такой, какой я есть.

Нет, вы меня не слышите.

Посмотрите сюда. Почти глухая темнота.

Как она говорила, Ингеборга-то?

Как же я люблю тебя вечером, Толлак: ты и не такой упертый, и в темноте красивый.

Да. Она умела сказать, что хотела.

Теперь все не так. И бутылек мой стоит в шкафу смирно, пока ни-ни, не притронуся. Еще час, ну два, и по окну скользнут огни машины, которая выворачивает из-за поворота.

И они приедут, Хиллеви и Ян Видар.

Я спросил Оддо, чем он собирается сегодня заниматься. Мы с ним сидели завтракали, как обычно. Я, как всегда, поставил на стол хлеб, масло, сыр, как каждый день, кофейник с кофе, сел на свой стул, он на свой. Ингеборгин стул пустует.

Он смотрел на дождь за окном. Глаза безмятежные.

— Я пойду в сарай, — сказал он.

— Спал хорошо? — спросил я.

Он кивнул.

— Вот и хорошо. Ты сеть чинишь?

— Да, — кивнул Оддо.

Он чинит сеть. Как может. Он чинит ее столько времени, что я уж не помню, когда он начал.

Но главное, что он при деле.

У меня слова вертелись на языке, но я не смог их выговорить, не сказал ему, что эти двое приедут.

Ингеборга, я двадцать один год жил в страхе сегодняшнего разговора с ними.

Он жил у водопада вместе с отцом. Как же его звали-то? Альф Ивар? Что ничего путного ждать от него не стоит, было ясно с одного взгляда. Я изредка встречаю его ненароком, он так и живет у водопада, только глаза запали, и шамкает голыми деснами.

А случай тот произошел много лет назад.

Я приехал в магазин. Дело, как сейчас помню, шло к лету, были последние числа мая. Яркий свет и бешеный ветер, который гнул елки вдоль дороги. Магазин у нас внизу, в долине, в семи километрах, я езжу туда раз в неделю и затариваюсь впрок. Такой порядок я завел еще при Ингеборге и продолжаю его, хотя много ли нам с Оддо нужно на двоих, с гулькин нос, и того много будет.

Кофе, яблоки, какая-нибудь заморозка, ну и по мелочи.

Сын этого, с водопада, с парой дружков кружили перед магазином на великах. Они галдели и вопили. В центре, запертый велосипедами, стоял Оддо. Он